

Женихи Бурсы¹

¹ Окончание. Начало в НО № 8.

Очерк третий

Камчатка *почивала на лаврах* до сего дня спокойно и беспечно; но сегодня в ней ярые толки и шум. Павел Фёдорыч возбудил те толки и шум своими угрозами о солдатчине. Но не на всех камчатников грозная весть произвела одинаковое впечатление. Камчатники распались на два типа по роду бурсацких наук. Науки были: *божественные*, которые ныне называются богословскими, и *внешние*, которые ныне называются светскими. Одни камчатники отрицали только *внешние* науки и с усердием занимались Законом Божиим, священною историею, церковным уставом и церковным пением. Эти специально готовились в дьячки и пономари. Представителями такого типа в особенности были двое — *Васенда* и *Азинус*. Васенда был великовозрастный, так что кончить курс ему пришлось бы не юношей, а тридцатилетним мужем. Он махнул на всё рукою и принялся за божественные науки. Это был человек честный, добрый, обладавший громадною физическою силою, но, как все силачи, спокойный и сосредоточенный; но главное, он был замечательный скопидом и хозяин. Так он и выглядит кремнем-причетником, у которого хозяйство никак не будет хуже, по крайней мере, дьяконского. Заглянем в его ученический сундук, когда Васенда выдвигает его из-под кровати. В углу небольшой деревянный образок Василия Великого, благословение матери, вдовы-дьячихи; на внутренней стенке крышки сундука набиты два ремня и за них вложено несколько дестей писчей бумаги; по краям, около бумаги, художественная выставка произведений конфетного и леденечного искусства: генерал, у которого нос чуть не поперёк лица; голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею амур, как будто бы страдающий водяной болезнью; потом лубочная гравюра, вырезанная из Бовы и изображающая то, как сей богатырь побивает метлою рать несметную; далее картинка из священной истории, на которой вы можете видеть изгнание наших прародителей из рая, и тому подобные изображения; эти изображения перемешаны с леденечными билетиками; тут же, между прочим, наклепена числительница, показывающая дни и месяцы на целый год. Внутри сундука в одном углу кадушка, в которой грибы со сметаной, а в другом мешок с толокном. На дне лежат книги, все божественные, ни одной внешней — их Васенда продал как ненужные. В другой стороне сундука аккуратно уложено чистое бельё и новенькая верхняя одежда. Кроме того, под образком находится маленький ящичек, в котором хранятся его деньги, письма, новейший песенник, нюхательный табак, пустая склянка, перочинный нож, гребёнка, мыло и тому подобное. Вот вам сундук Васенды, окованный прочными железными полосами, с крепчайшим замком. У Васенды отличный дублённый тулуп и неизносимые осташи с голенищами по колено. Его скопидомство доходило даже до крайности: так, он целый год писал одним пером, едва касаясь бумаги и каждый раз бережно завёртывая его в бумажку. Он уже и теперь так и выглядит степенным и практическим дьячком; и действительно, он умеет что угодно и купить, и продать; походка у него важная, осташи блестят... Вот этот-то господин и был представителем лучшего типа бурсацкой Камчатки. В самом деле, из него вышел прекрасный, зажиточный деревенский дьячок. Весть о солдатчине мало тревожила его: он верил в свою звезду.

Азинус был ученик высокого роста, сутуловатый, с выдавшимися лопатками на спине, на длинных ногах; широкие скулы, бойкие серые глаза и постоянно вздёрнутый кверху нос, вечно нюхающий что-то в воздухе, придавали лицу его выражение той хитрости, которою отличаются мелкие плуты с узким лбом. Он ходил в тиковом халате, в дырявых сапогах и в ватной шапке и зимой и летом. Азинус был сын заштатного пономаря, горького пьяницы, жившего подаянием. Мать Азинуса, бедная старуха, забитая своим мужем, переслала своего сына в училище с одним дальним своим родственником, но при этом, по неопытности или старческой рассеянности, не озаботилась передачею ему документов, необходимых для поступления в бурсу. Родственник привёз Азинуса, тогда ещё осемилетнего мальчика, на ог-

ромный двор училища и пустил его на волю божью отыскивать самому себе науку. Азинус долго ходил по двору, не зная, куда деться. К вечеру он проголодался и, увидя в восемь часов огромную массу воспитанников, примкнул к ним и очутился в столовой, где, долго не думая, принялся за щи и кашу. После ужина ученики отправились сначала на молитву, а потом по спальням, — он за ними; в спальне он нашёл незанятую казённую кровать, где и уснул спокойно. Поутру он опять вместе с другими сходил на молитву, а потом попал в приходский класс; тут он водворился на задней парте. Так он прожил около трёх месяцев, пока, наконец, учитель не обратил на него внимания. Стали наводить справки, Азинуса в списках не оказалось. Его покормили в последний раз обедом и велели убираться за ворота, на все четыре стороны. Вот так младенчество — лучшая пора нашей жизни! Он несколько дней питался милостынею, бог знает где ночуя, пока не наткнулся на другого нищего, своего отца, который отвёл сынка к знакомому дьячку, окончательно определившему маленького Азинуса в бурсу, которая его окончательно изувечила. Он сначала оказывал успехи, но скоро плюнул на всё и, выжив известный период сечения, засел в Камчатку навсегда. Здесь сложился его характер, в высшей степени безалаберный. Главным его занятием были чёт и нечет, юла, три листика, мена ножами и тому подобные коммерческие игры бурсы. Он сделался настоящим цыганом училища, променивая и выменивая, продавая и покупая что угодно. Деньжонки и вещи, приобретаемые им, шли у него без толку. Все ученики, остающиеся на рождество или пасху в училище, умели чем-нибудь запастись для праздника; Азинус же часто проедал деньги накануне его, а потом шлялся по спальням, льстил, кланялся, прислуживался, ругался и лгал, выпрашивая кусок булки, яйцо или клок масла у своих товарищей. При таком характере он совершенно изолгался. До сих пор передают его рассказы. Так, он однажды говорил, что в страшную метель зимою ехал куда-то, на него напали волки. Что было делать? «Я, говорит, со страху спрятался в рожь». Когда его спрашивали, каким образом зимою попался он в рожь, тогда Азинус ругался, рассыпал смази и, свёртывая из пол халата хвост, описывал им в воздухе круги. Нередко он сообщал своим слушателям о том, как он видел сам привидения, домовых, мертвецов и чертей. Но он не только что врал, но не прочь был и стянуть что-нибудь. Однажды он путешествовал на родину, вёрст за полтора, с четырьмя копейками в кармане, спал в лесу, питался незрелыми ягодами, иногда заходил в харчевни, обедал в них и потом утекал, не заплативши денег за обед. Этот молодец когда прибыл на родину, то у него оставалась ещё одна копейка в экономии. Азинус был во всех отношениях противоположность Васенде. Но и он не обратил внимания на весть о солдатчине, хотя это сделал единственно по безалаберности своего характера.

Вообще Камчатка, отрицающая внешние науки и изучающая только божественные, не была сильно взволнована словами Павла Фёдорыча. К тому были основания. Начальство смотрело на божественную Камчатку довольно благосклонно: она что-нибудь да делала. Бывали проекты (и это знали камчатники) о преобразовании священных задних парт в специальный класс, так называемый *причетнический*. И потому ученики, подобные Васенде или Азинусу, были спокойны.

Но иное совсем происходило в другой половине Камчатки. Здесь почивали на лаврах абсолютные нигилисты, отрицавшие и внешние, и божественные науки. Там сидели некоторые убогие личности, которые и сами убедились, и начальство убедили, что не имеют способностей и учиться не могут, хотя странно считать кого бы то ни было неспособным даже к самому ограниченному, элементарному образованию. Так, был один ученик, сын финского священника, который просидел в приходском классе шесть лет и едва-едва научился читать, после чего его исключили. Его прозвище *Азбу'чка Забалдырь Еванги'лье Свитицы* — за то, что он азбуку называл азбу'чкой, а псалтырь — забалдырью. Такие примеры не редкость в бурсе. Столько же времени и в том же классе сидел Чабря. Иные до второуездного класса доплетались только через четырнадцать лет — время, которого достаточно для того, чтобы приготовиться на степень доктора какой угодно науки, срок, который одним годом только меньше срока нынешней солдатской службы. Эх, бедняги, какую ж лямку вы тянули: солдатскую, а вас ещё солдатчиной стращали!.. Нашли чем испугать!.. Но вы всё же таки пеняли тогда на

начальство, дрожали от страха за свою судьбу: вам, конечно, не хотелось такую же службу вынести вторично.

Мы видели, что действительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внешней Камчатке были и способные ученики, сердце которых тоже дрогнуло от слов Краснова, не столько от того, что их головы хотели накрыть красной шапкой, — эти лентяи были народ беззаботный, мало думающий о будущем, — сколько от той беды, которую испытал сегодня их товарищ, Иванов. Изленившись, они не могли взяться за книжку, а с другой стороны, особенно умные из лентяев инстинктивно и, право, справедливо чувствовали отвращение к бурсацкой науке. Однако тем не менее нервная дрожь пробегала по их телу, когда они вспоминали Павла Фёдорыча. Они чувствовали, что вслед за Ивановым стоит их очередь, что зоркий глаз Краснова отыщет их в Камчатке и заставит их прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня в Камчатке; но, читатель, подождите немного и вы увидите, что сегодня же радостно взволновало не только Камчатку божественную, не только Камчатку внешнюю, но и весь класс бурсаков.

Дайте только рассказать мне, какую штуку отмочил сегодня Аксютка в сообществе с Ipse, — иначе рассказ наш не будет вам понятен.

Аксютка всё ещё щёлкает зубами.

Стемнело. Лампы, как мы уже имели случай заметить, не зажигались в классах до занятых часов. Аксютка пробрался в первоуездный класс, где в потёмках обыскивал карманы и парты учеников.

— Где бы *стилибонить*? — шептал он.

Отправился он в приходские классы. Успех был тот же, и Аксютка со злости загнул какому-то несчастному трёхэтажные салазки.

— Всё стрескали, подлецы! — проговорил он.

С голодом Аксютки естественно росло непобедимое его желание похитить что-нибудь и съесть, а вместе с тем увеличивались его хитрость, изворотливость и предприимчивость. Он отыскал своего друга и верного пажа Ipse и отправился вместе с ним в тот угол двора, у ворот, где была пекарня. Они пришли к пекарне; Ipse спрятался в тёмном углу её, а Аксютка что есть силы стал ломиться в двери.

— Голубчик, Цепка, дай хлебца.

Цепка был солдат добрый. Он голодных бурсаков часто наделял хлебом, а кого любил — так и ржаными лепёшками. Но этот хлебопёк не мог терпеть Аксютку: он был уверен, что Аксютка стянул у него новые голенища.

Отметим здесь ещё странное явление бурсы. Служители училища были чем-то вроде властей для учеников; у инспектора они имели значение гораздо большее, нежели всякий второклассный старшой. Свидетельство *сторожа* (так ученики звали прислугу) или жалобы его всегда уважались начальством. Ученик против сторожа ничего предпринять не мог. Это объясняется тем, что вахтёр, гардеробщик, повар, хлебник, привратник и секундатор из сторожей, очевидно, служили в видах начальства. Все они из урезанных продуктов, разумеется ученических, должны были во что бы то ни стало приготовить для начальства хлеб, мясо, крупу, холст, сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждого из них была как бы жалобой на самоё начальство; например, сказать, что повар мало каши даёт, значило сказать, что эконом крадёт казённую крупу, что эконом делится с смотрителем, училищный смотритель с семинарским, этот с академическим и так далее: выйдет, что жалоба о каше есть жалоба против высшего начальства, чуть не заговор и бунт. Да на бурсацком языке такие жалобы действительно и назывались бунтами и преследовались как бунты.

Служители сознавали своё положение и пользовались им.

Они жили гораздо лучше тех, кому служили: одежду носили казённую, ели вволю и хорошо, могли высказывать свои неудовольствия и грозить оставлением службы, у них всегда бывали жирные щи со свежей говядиной, жирно промасленная каша, а хлеба не порциями, как бурсакам, но сколько угодно. Живя почти на всём готовом, они, кроме того, получали жало-

ванья от восьми до двенадцати, а вахтёр и семнадцать рублей ассигнациями, — они были богаче самых богатых бурсаков. Многие из них имели случай красть казённое. Повар получал от некоторых учеников еженедельную плату за то, что кормил их утром и вечером кашею. Захаренко, секундатор, открыто брал взятки; каждый праздник он обходил классы и объявлял: «Что же, господа, Алексею Григорьичу (так величали Захаренко) на табачок?» К нему сыпались на подставленную ладонь гроши и пятаки. За неделю, когда сбор был скуден, ученики замечали, что он сёк их с большею исправностью и аппетитом. Кроме того, Захаренко продавал ученикам нюхательный табак, сам-тре. Словом, служители составляли низшее начальство. Если к этому прибавить, что некоторые из них наушничали инспектору, то понятно будет их влияние на учеников. Поэтому ничего нет удивительного, когда Захаренко под пьяную руку проводил пальцем по голове ученика, как по бубну, приговаривая: «Эй, прокислая кутья, ваше дело гадить, наше убирать». Или что удивительного, если Еловый бил бурсака метлой по затылку, Трёхполенный давал трёпку и тому подобное? В большинстве случаев такие обиды терпеливо сносились учениками.

Но Аксютка, как отпетая личность, не обращал внимания на служительские власти. Он продолжал ломиться к Цепке в хлебную.

— Кто тут? — послышался голос Цепки.

— Это я, Цепа.

— Я тебе дам такого хлебца, что не съешь... прочь пошёл!..

— Цепа, ей-богу, есть хочется!

— Ну, пошёл, пошёл!.. не проедайся!..

Аксютка переменял тон. Он стал ругаться:

— Цепка, чёрт, дай же хлеба! Жалко, что ли, тебе куска какого-нибудь? Собака ты этакая, чтоб подавиться тебе сапогом, который ты шьёшь!

— Ах ты, бесов сын! — проворчал Цепка.

Цепка воткнул шило в деревянный обрубок, служивший ему столом, и, стиснув зубы, схватил метлу и стремительно бросился к двери. Он приударил за Аксюткой. Аксютка бегал очень хорошо; он мастер был играть в пятнашки и на небольшом пространстве умел *увёртываться*, делая неожиданные повороты то в ту, то в другую сторону. Двор был велик, и потому Цепке было бы трудно поймать Аксютку, но Аксютка побежал к воротам. Цепка крикнул привратнику, стоявшему там:

— Держи его!

Привратник схватил тоже метлу и бросился на Аксютку, Аксютка переменял рейс. К его несчастью, был шестой час вечера, час, в который служители мели спальные комнаты. Они теперь выходили с разных концов двора.

— Держи его!

Аксютку все знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксютке приходилось плохо. Его травили с четырёх концов — он и озирался хищным волкам. «Намнут, черти, шею!» — думал он. Но вот ноздри его поднялись и опустились. Он быстро бросился к Цепке. Цепка, не подозревая ничего в этом новом маневре, бежал к нему с распростёртыми руками. Другие служители, видя, что Аксютка почти в руках Цепки, опустив швабры, кричали:

— Хватай его!

Но Аксютка, налетев на Цепку, неожиданно упал ему под ноги. Разлетевшийся Цепка полетел кубарем вверх ногами. Аксютка направил свой бег к классу, который уже был освещён, потому что начались занятия. Цепка, человек бедовый в сердцах, стал клясться и божиться, что убьёт Аксютку. Он поднялся с земли, схватил метлу и отправился к классу, куда скрылся Аксютка.

— Теперь поймают... попался! — говорили служители и разошлись в разные стороны.

Цепка ворвался в класс с страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидев его, вскочил на первую парту, с первой на вторую и полетел над головами товарищей. Цепка последовал его примеру, и огромный солдат носился с метлою в храме бурсацкой науки... Картина была великолепная... Ученикам стало весело, — такие спектакли прихо-

дилось видеть не часто. Из-под ног разъярённых врагов летели на пол дождём книги, грифельные доски, чернильницы и линейки.

— Го-го-го! — начали бурсаки.

— Ату его! — подхватили другие.

Третьи свистнули.

Кто-то книгой пустил в Цепку. Цепка не обращал внимания на крик, атуканье и рёв бурсаков. Он распалился страшно. Двадцать две парты, как клавиши, играли под здоровеными его ступнями. Но вот Аксютка, соскочив на пол, скрылся под партой; Цепка хотел последовать его примеру, но какой-то бурсак дёрнул его за ногу и он растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здесь той свирепой брани, которою он осыпал весь класс.

Аксютка, выглядывая из-под парты, говорил ему:

— Цепка, встань да на другой бок.

Цепка бросился к нему, но Аксютка уже из-под другой парты:

— Право, Цепка, дай, — голенища подарю.

Цепка понял, что под партами ему не угоняться за врагом. Он, обзвав бурсаков прокислой кутьёй и жеребьячьей породой, направился к двери. Его проводили криком, свистом, атуканьем и крепкими остротами.

Покажется странным, каким образом подобный гвалт и рёв мог не доходить до начальства. К тому способствовало самоё устройство училища. Всё здание разделялось на два корпуса — старый и новый. В старом года за три до описываемого нами периода помещалась семинария, а в новом училище. Семинария потом была переведена в новое здание, училище же осталось в прежнем. В училище из начальства жили только смотритель и инспектор, другие учителя помещались в старом корпусе². Таким образом, училище по необходимости управлялось властями, выбранными из учеников же. Кроме того, квартира смотрителя и инспектора была на противоположном конце двора, далеко от классов, так что никакой гвалт и рёв не доходили до начальства. Служители составляли, как мы уже имели случай сказать, нечто вроде начальства и, значит, были ненавидимы товариществом, вследствие чего скандалы вроде описанного не доходили до инспектора и смотрителя.

² Между прочим, описывая бурсу, мы опустили очень важное обстоятельство, что повело ко многим недоразумениям. Мы забыли сказать, что описываемая нами бурса было закрытое учебное заведение. Ученики её не жили, как жили в других бурсах, на вольных квартирах. Все, человек до пятисот, помещались в огромных каменных зданиях постройки времён Петра I. Эту черту не следует опускать из внимания, потому что в других бурсах вольные квартиры порождают типы и быт бурсацкой жизни такие, которых нет в закрытом заведении. Быть может, здесь же должно искать причину и того, что формы бурсацизма в нашем училище сложились так оригинально и так неискоренимо. Традиция, при закрытости заведения, имела полную силу и жизненность.

Мало-помалу всё успокоилось в классе. Аксютка пробрался в Камчатку. Скоро явился и Сатана (он же и Ipse)...

— Ну что, Сатана?

— Оплетохом!

— Лихо!.. Ну-ка, давай сюда! Ipse вынул целый хлеб.

— Да ты молодец!.. я тебя за это жалую смазью...

Сатана принял смазь и проговорил:

— Аз есмь Ipse!

Аксютка уписывал хлеб с волчьим аппетитом. Но после завтрака он всё-таки не успокоился духом. «Чёрт их побери, — думал Аксютка, — этак когда-нибудь и с голоду умрёшь. Уж не закатить ли завтра нуль в нотате? Э, нет, подожду — ещё потешусь над Лобовым. А дело всё-таки гадко. Но ладно, *«бог напитал, никто не видал; а кто и видел, так не обидел»*, — заключил Аксютка бурсацким присловьем. — «Утро вечера мудренее...»

— Эх, Аксён Иваныч, — сказал ему Ipse, как бы отвечая его мыслям, — воззри на птицы небесные: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но отец небесный питает их.

— Аминь! — сказал Аксютка и решил продолжить свои проделки с Лобовым.

Ещё не утих гомерический хохот бурсы, как вошёл в класс лакей инспектора и спросил:

— Где дежурный старшой?
— Здесь, — отвечал старшой.
— Тебя инспектор зовёт.
Лакей ушёл.

Сразу по всем головам прошла одна и та же мысль: верно. Цепка пожаловался инспектору на Аксютку, у которого уже дрожали от предчувствия беды поджилки, но и кроме его многие струхнули, потому что многие принимали участие в скандале.

Старшой застегнулся на все пуговицы и отправился к инспектору не без внутреннего трепета, потому что в его дежурство случилась эта милая шутка весёлых бурсачков. На класс напало уныние. Минуты еле тянулись в ожидании дежурного. Наконец он явился. Его встретило мёртвое молчание.

Дежурный окинул взором класс. Все ждали.

— Женихи! — крикнул он.

У всех отлегло от сердца.

— Женихи? — отвечали ему.

Класс наполнился радостным ропотом. Туман с физиономий исчез, по ним пробежала светлая полоса. Все приподняли головы. У всех была одна мысль: «Среди нас есть женихи, значит, мы не мальчики, а народ самостоятельный».

Но что сделалось с Камчаткой? Там воодушевлённый говор, потому что настал час торжества, час величия Камчатки.

Взоры всех были обращены в эту счастливую страну.

*Полно азбуке учиться,
Букварём башку ломать!
Не пора ли нам жениться,
В печку книги побросать?*

Шум усиливался.

— Тише! — крикнул цензор.

В классе несколько стихло.

— Кто женихи?

Вышли Васенда, Азинус, Ерра-Кокста, Рябчик.

— И я жених. — С этими словами присоединился к ним Аксютка.

Класс захохотал. Ирсе от восторга вертел хвостом халата.

— Никого больше?

Больше никого не оказалось.

— Женихи к инспектору!.. живо!

Все пятеро отправились к инспектору. Класс, глядя на Аксютку, который с уморительными гримасами подпрыгивал и бил себя по бёдрам, весело смеялся.

Когда женихи скрылись за дверями, класс наполнился сильным говором, точно на рыночной площади торг во всём разгаре. Но это не был тот бесшабашный гвалт, когда бурсаки тянули *холодно* или дули *разноголосицу*: он скорее походил на тот шум, который наполнял класс во время получения билетов на каникулы. В Камчатке же шло положительное ликование — она высылала от себя женихов, героев дня. Событие во всех головах поднимало мечты: «Когда-нибудь и мы освободимся от бурсы». От двенадцатилетнего мальчика до двадцатидвухгодовалого парня, от последнего лентяя до первого ученика — все думали одну радостную думу. Всё училище было охвачено трепетом. Бог весть каким образом магическое слово «женихи» быстрее ласточки облетело по всем классам, сладостно волнуя бурсачьи души. Урок нейдёт на ум, книги в партах, ученики сбились в кучки, и цензор снисходителен на этот раз — не разгоняет их. Все сразу почему-то вспомнили свою родину, дом, отца с матерью, братьев с сёстрами. Самые молодые бурсачки и те рассуждают о невестах, о женитьбе, о поповских и дьяческих местах и доходах, о славенье и т.п. Многие толкуют о дне исключения

их: кто собирается в дьячки, кто в послушники, кто в чиновники, а кто так и в военную службу. Женихи вернулись от инспектора.

— Ну что? — спрашивали их с любопытством.

— Везёт ли, Аксён Иваныч? — говорил Ipse.

— Вот тебе — читай.

Ipse взял из рук Аксютки осьмушку исписанной бумаги и начал по ней читать громко:

БИЛЕТ

Ученик Аксён Иванов уволен в город для свидания со своею невестою Ириною Вознесенскою, 18... года 23 октября, с 4 часов пополудни до 9 часов вечера.

Далее следовала подпись инспектора.

— Браво, Аксютка! — кричали товарищи.

У Васенды и Азинуса были такие же билеты. Но остальные два претендента пробирались на священные парты Камчатки с унылым и понуренным видом.

— Вы что?

— Их сначала будут румянить и уж потом на смотрины.

Раздался смех.

Униженные и оскорблённые, усевшись на место, положили с отчаянием свои победные головы на руки.

— Этому, — пояснял Аксютка, указывая на великовозрастного бурсака, — инспектор сказал: «Я тебя замечал в нетрезвом виде — какой же из тебя выйдет муж... Нет, вместо свадьбы устрою тебе баню».

— Поздравьте, господа, — дополнил Аксютка, — молодых с законным браком.

Хохот.

— А этому, — говорил Аксютка, указывая на другого отверженного жениха, — оказалось всего четырнадцать лет.

— Вот так жених!

— Смазь ему, ребята!

— Салазки жениху!

Несчастливого окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и беспощадными салазками. В другое время он протестовал бы, но теперь стыдно было, что он, четырнадцатилетний мальчик, задумал *брачиться* с тридцатидвухлетней древностью. Кроме того, его мучил страх грядущих румян. С горя, стыда и страха он заплакал.

К нему подошёл Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос жениха и потянул через парту.

— У-у-у! — затянул он.

Класс захохотал.

— Молокосос!

Тавля после того ещё надрал ему уши.

Бедняга рыдал, но от стыда не решился просить пощады. С той поры его прозвали «мозглым женихом». Он в тот же вечер ударился в беги. Когда будем говорить о бегунах бурсы, расскажем и о его похождениях.

Около женихов были шум и толкотня. Расспрашивали о приходе, о невесте, о доходах, давали советы и снаряжали на завтрашний день к невесте. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряжённое состояние духа учеников, в котором они находились. Это выразилось тем, что товарищи охотно предлагали женихам кто новенький сюртучок, кто брюки, кто жилет, даже сапоги и бельё. Азинус на другой день сбросил с себя тиковый халат и дырявые сапоги, у которых вместо подметок были привязаны дощечки деревянные, и явился франтом хоть куда. Всё это напоминает нам тех беглых арестантов, которых г. Достоевский изобразил в «Мёртвом доме». Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от бурсы.

Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь не-

веста, недурной мальчик лет четырнадцати, сидела одетая во что-то вроде импровизированного капота; голова была повязана платком по-бабьи, щёки её были нарумянены линючей красной бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправились к невесте, а от ней к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Явились попы, дьяконы и дьячки, зажгли свечи, началось венчанье с пением «Исаие, ликуй!». Гороблагодатский *отломал апостол*, закричав во всю глотку на конце: «А жена да боится своего мужа». Тавля поцеловал у печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился опять в Камчатку, где и начался великий пир и столованье. Здесь гостям подавались леденцы, пряники, толокно, мочёный горох и даже часть украденного Аксюткой хлеба шла в угощение поезжан и молодых. Поднялись пляски и пенье. В конец занятных часов появилась и святая мать-сивуха. На другой день через фискалов всё известно было инспектору и последовало румянение тех мест, откуда у бурсаков растут ноги.

На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были действительные смотрины.

Васенда, как человек положительный и практический, нашёл невыгодным закреплённое место, приданое и обязательства, а невесту чересчур заматеревшею во днех своих, на вид рябою, длинною и чёрстою. Он решился остаться в Камчатке до лучшей суженой.

Азинус, по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоела и опротивела бурса, махнув на всё рукою, решился вступить в законный брак с дамою, которая была старше его, по крайней мере, десятью годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба.

Аксютка вовсе и не думал жениться. Он отправился на смотрины единственно из желанья потешиться, поесть у невесты, стянуть что-нибудь и погулять вне училища, на свободе. Он украл у «наречённой» шёлковый платок и три медных гривны.

Один из женихов, как мы уже видели, удрал из училища и теперь состоял в бегах.

Пятый жених на другой день получил от инспектора румяны, то есть блистательную порку.